

МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ как-то сказала: «Послушайте, я 46 лет на вас работала, на эту страну — и все впустую. Мне Гали Вишневская еще когда говорила: уезжай, они тебя все равно выбросят. И предстаньте, так все и случилось... Если бы я тогда уехала, как много я могла бы сделать!» Я спросила Елену Камбурову: а она жалеет, что не уехала?

Она сказала, что прежде никогда и в мыслях не держала... А сейчас старается не думать, что было бы...

Но этим летом вдруг стала вспоминать все свои обиды. Три дня вспоминала.

...ЕЕ ЗАРУБИЛИ на первой же сольной программе.

Микаэл Таривердиев, Ролан Быков, Сергей Каштелян на предварительном прослушивании хвалили без удержу, вселили массу надежд.

А через несколько дней жюри в лице Мос- и Роконцерта и Минкультуры РСФСР приговорило: с таким антисоветским репертуаром вообще на сцену нельзя выпускать.

Известный исполнитель русских песен Суржиков закричал: «Так начиналась Чехо-Словакия. Там тоже молодежь уходила в леса и пела какие-то свои песни, и видите, чем закончилось».

Было хорошо всем видно, чем закончилось в Чехо-Словакии, так как шел сентябрь шестидесяти восьмого года.

Тогдашний директор Москонцерта пронзительно заметил: «По трупам ходить. В каждой твоей песне гибнут люди». (Это об «Орленке», «Гренаде», «Трубаچه»).

Другие высказывались так: «Где же вы, где же вы, счастья острова?» — «Что значит где? А разве мы не на острове счастья — острове коммунизма живем?» — «Кто тебя выдумал, звездная страна?» — «Это вы на кого намекаете?»

Спас тогда, в шестидесят восьмом, Ролан Быков.

Он «подбил» ЦК ВЛКСМ дать Елене Камбуровой премию Московского комсомола. Всполошившись, руководство Москонцерта побуждало было в обком партии, дабы предупредить: некоему такому идеологически невыдержанному человеку, как Камбуrowa, давать столь трогательно-престижную премию. Однако премию Камбуровой дали, и «шапка» эта помогала ездить по стране.

Правда, ездила только втихую, крайне редко и пела только в сборных концертах.

...Шестидесятые годы — ее колыбель. Ни позже, ни раньше как певица она на свет не родилась не могла. Тут само время ее подтолкнуло на сцену.

В шестидесятые появились люди с хорошими глазами.

Они стали ее первыми зрителями.

Жизнь тогда пред нею стала лугом...

Но «пытка счастьем» продолжалась недолго. Оттепель умчалась, растаяла на глазах у растерявшейся публики.

Весны пошли промозглые. Сергей Довлатов писал: «Жизнь становилась все более тусклой и однообразной. Даже злодейство носило какой-то будничности, унылый характер. Добро перерождалось в безучастность. Про хороших людей говорили — этот не стучит...»

...В Москонцерте от Камбуровой потребовали заявления, что ее песни в оплату не нужны.

Почему так? А Бог его знает. «Логика ни шиши», — как говаривал Брежнев об одной из своих эпох.

Два года, например, не разрешали ей петь «Маленького принца». И когда уже другие пели «Маленького принца», ей нельзя было. Потому что другие радостно и возбужденно пели, а Камбуrowa — печалась...

В Барнауле в конце шестидесятых шли ее первые гастроли. После концерта вызвали в обком партии. Секретарь по агитации и пропаганде сказал: «Как вы можете петь: «Простите пехоте, что так неразумна бывает она...» Морщина от отвращения к этой окуджавской строке. Сокрушался: «Т-а-к-о-е про Великую, про Отечественную, про Героев...» И далее — главное: «Это не та интонация, не та, не наша».

Секретарь говорил обиженным.

«Советская власть — обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет. Но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует...»

Камбуrowa игнорировала. И это было зафиксировано.

«Я ведь тоже выступаю перед людьми. Знаю, что такое публика», — сказал секретарь.

Перед народом же то и дело кто-то выступал — то вожди, то артисты. Народ, по Пушкину, безмолвствовал. Народу было непонятно, что происходит — трагедия или фарс. Для трагедии вроде бы крови маловато. (Во всяком случае по сравнению со сталинским отрезком Великого Пути). А для фарса слишком уж все противно.

Но я отвлеклась.

А между тем надо сказать «спасибо» партийному дядьке с сериным гладким голым лицом, что надумил Елену Камбуrowa: не кадры, а интонация решает все.

мальчишеский альт; когда голос вдруг удваивается, утраивается и немислимими аккордами взрывает пространство; когда время закручивается в спираль, когда и зримые облики фантастически преображаются...

Это мнение зрителя. Мужчины, кстати. Подчеркиваю последнее не ради того, чтобы известить вас, что мир делится на мужчин и женщин, а просто вспомнив, как одна дама обиделась на Камбуrowa, посетив впервые ее концерт: думала, что-то потаенное, «наше», женское петь будет, а у нее все такое серьезное, тяжелое.

...Анатолий Васильевич Эфрос хотел поставить спектакль с Камбуrowой. Ролан Быков загорелся поставить спектакль с Камбуrowой по поэме Ахмадулиной «Сказка о Дожде». Потом еще что-то Мотыль замыслил. Но конча-

матова. В шестидесят первом Елена Камбуrowa, отучившись два года в Киевском институте легкой промышленности, бросила все и уехала в Москву поступать в театральное училище. Творческая жизнь этих женщин разминувшись в десятилетиях, но совпала в душе.

«Я для общественного сознания прошла мимо», — сказала Лена.

А было: за два квартала от филармонии лишнего билета спрашивали. Потом — абсолютно пустые залы. Потом — враждебно настроенные.

Напутанные серьезностью ее репертуара администраторы спрашивали: «А у вас ничего нет цыганского? Вам бы пошло петь цыганские песни, и публика, знаете, это любит».

И перед пьяными шахтерами выступала. Прервала тогда концерт, сказала: «Песни — существа очень хрупкие. И

участливо, потом возьмет да и объяснит все: «Это, дэточка, потому, что вы не поете: ура, ура, в жопе дыра».

Фаина Георгиевна Раневская была очень одиноким человеком. Многие она сама отшивала, особенно любопытствующих, иные ей просто были неинтересны.

Одиночество — привилегия личности.

Раневская прислала Камбуrowой письмо на радиостанцию «Юность», хвалила за чтение горьковской Пунчи из «Сказок об Италии». Лена поверить не могла этому письму. Подумала почему-то, что друзья решили таким странным образом ее поддержать.

Прошло несколько лет. Как-то в компании один молодой человек объявил, что едет к Раневской. «Хочешь, поехали со мной», — сказал Камбуrowой. Надо было знать, как

те, говорили ей, о чем это вы?! Песни должны быть гражданственными. Вы лучше уберите композицию на стихи Ахмадулиной и Цветаевой.

Она не соглашалась. Тогда ее запрещали. Она не работала полгода, год.

«В том доме было очень страшно жить».

После каждой поездки по стране «гэбист» из отдела кадров Москонцерта приглашал к себе. «Ну рассказывайте». — «Что?» — «Все». Долгое-долгое молчание. Наконец: «Как прошли гастроли?» — «Хорошо». — «Подробнее, пожалуйста». Молчание. «Ладно, идите и напишите». — «Что?» — «Все о своих гастролках». — «Зачем? Для кого?» — «Для меня. Просто так».

Она потом дома плакала, заболела.

В приснопамятном шестидесяти восьмом году, когда принимали ее первую сольную программу, одна старая актриса из жюри пожалела: да не трогайте вы эту Камбуrowу, она же больной человек.

Для «них» не так думавший мог быть только больным.

И лет двадцать в Госконцерте на вопросы зарубежных импресарио отвечали: какие гастролы на Западе? Господь с вами! Камбуrowa болеет, не работает, и телефона у нее нет, н-е-т, н-е-т.

За границу ее выпускали только на минутку. На каком-нибудь празднике коммунистической печати спеть одну (не более) песню где-то посреди площади и балагана. И мигом чтоб домой!

А в восьмидесяти четвертом году западные (в то время) немцы настояли-таки на сольном концерте Камбуrowой. (И не постеснялись тогда в Госконцерте из гонорара актрисы восемь тысяч марок оставить ей сто две марки).

С денежными знаками у нее всегда было напряженно. Зарплату в Москонцерте получала ничтожную, мизерную и за той стояла по три дня в очереди. Касса находилась в маленьком коридорчике, по отказу набитом многослойной очередью, которая непрерывно шумела, ругалась и даже дралась... Кстати, находилась касса Москонцерта на Каланчевке, 15; в здании дореволюционного бардака.

...Никто не мог ей действительно помочь. Среди ее друзей и зрителей нет ни одного начинающего.

Этим летом в ФРГ о Камбуrowой впервые услышал заместитель министра советской культуры. Посетил по случаю своего пребывания в Бонне ее концерт. Понравилось. Неужто и правда уже двадцать пять лет поет?

...Ей не двадцать лет, и не тридцать. Между тем все еще начинающая актриса.

Этим летом дала два сольных концерта в Бонне. Октябрь проведет в Голландии. Потом должна состояться запись в Германии.

Театру же ее в отечестве, подсчитано, необходимо маленькое помещение и пять тысяч рублей дотации в год. Ни того, ни другого вымолить не может.

А зритель есть.

Она и ее зритель — сторожа, часовые. Чего-то такого, что ныне, да, в тени, но может стать оправданием нашего времени.

...Минувшим воскресеньем в Центральном Доме работников искусств СССР в маленьком зале на двести двадцать мест она пела песни, баллады, лирические новеллы. Программа была ею подготовлена для поездки в Голландию. Но первыми ее услышали москвичи.

Прозвучали песни на стихи Александра Блока, Булата Окуджавы, Давида Самойлова, Юлиана Тувима. Музыка Владимира Дашкевича, Юлия Кима, Жака Бреля.

Она выходила на сцену нарядная и хрупкая.

После каждой песни к ней бежали с розами.

В те три дня, когда она вспоминала все свои обиды, покаяла: не надеясь ни на что, надо надеяться абсолютно.

З. ЕРОШОК.

ИСТИНА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ТРИ ДНЯ ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ



Касс. Превца - 1991. - 4 окт.

Она теперь слышит голос человека, и уже по одному только звуку, вне слов, определяет, кто пред нею.

Интонация — это то, чем окрашено сознание. Окрашен — в результате — и голос. «Вот у Шагала есть своя интонация. Шагаль — летающий ребенок».

На одном из камбуrowских концертов в антракте я услышала: «Что-то в голосе ее...» — «Что же?» — «Не знаю, не могу объяснить, но ее голос — покойный, рыдающий, стонущий — он всегда «о чем-то». О чем-то, да а не просто так. В этом голосе звук цинизма, если воспользоваться словом Мандельштама, за его общительность, за его способность сказать нечто о жизни, о ее внешности и сущности; где и впрямь волшебство звука не только в том, что он обобщает в себе жизненную ситуацию, как бы впитывает ее в себя, но и в том, что длительно сохраняет ее, оберегая от разрушения временем».

...Критик Яков Львович Варшавский, увидев в концерте Елену Камбуrowу, сказал, что эта певица выходит на сцену не выступать, а страдать вместе со зрителем.

Она помирает в каждом спектакле. Ей говорят: так жить нельзя. Она обреченно кивает головой: понимаю, но иначе не умею.

«О, красота! О, безмятежность! О, легкость беспредельная моя! Все, все ушло. Увы, не дотянуться. И век не тот! И жизнь моя не та...»

В средневековые музыканты считали средством для обнаружения совести.

Новая программа Елены Камбуrowой построена на французской и английской поэзии XVI века, «Реквием» Ахматовой.

Так что положение обязывает...

Окуджава сказал о Камбуrowой: последняя героиня-сказка женщина в нашем жанре.

Владимир Леви признавался: слушаю Камбуrowу, чтобы лечиться от пошлости.

Елена Камбуrowa — очень ясная певица. Ни новомодных погов в репертуаре, ни ужимок и прыжков, ни шумовых видеоэффектов, ни мощных звукоусилителей, ни стадионных размеров аудитории. Все строго, скромно, просто.

«Пошлостью была бы любая попытка как-то определить феномен Камбуrowой или свести к какому-то из его компонентов — к изощренной ли технике, к особой артистической манере, к интеллигентности или ошеломительным природным данным. В самом деле, есть от чего сойти с ума, когда из одних и тех же уст звучит то фиалковый дискант, то базальтовое контральто, почти бас, то полный солнечной пряности полу-

лось ничем, чаще всего разбиваясь о полную нищету. Как-то все не сложилось... Денег не хватило.

Очень умный администратор Павел Леонидов в свое время пытался из Елены Камбуrowой сделать звезду советской эстрады. Но тут подоспел шестидесят восьмой год... Потом Леонидов говорил ей не раз: ну пой, пой свои песни в одном экземпляре.

...Камбуrowa не завистлива. Чужая слава ее не мучает. В этом смысле она так и не научилась жить жизнью актрисы.

Первую песню на эстраде спела про Ленку Королеву. И до сих пор неустанно радуется каждой строчке Булата Окуджавы.

Много лет пела Юлия Кима, хотя петь Юлия Кима ей запрещали, и она пела его под псевдонимом — Ю. Михайлов. Сегодня Юлия Кима призналась, обласкала, книги выходят одна за другой. Камбуrowой от этого опять же только радость.

Константин Райкин с Юрием Богатыревым в юности всю Москву обегали в поисках ее концертов.

С Юрием Камбуrowу потом связывали долгие годы нежнейшей дружбы. Юрий разговаривал с ней неизменно любя, молясь. (Я заметила это несколько лет назад в одной телевизионной передаче, где Богатырев брал у Камбуrowой интервью).

Уже будучи смертельно больным, Юрий ради Лены согласился участвовать в одном «левом» концерте, который затрефовали от Камбуrowой дамы из жилищного отдела Моссовета, пригрозив, что иначе ей от «них» своей долго-долгожданной квартиры не выдать.

Отслушавши концерт знаменитых артистов, коих Лена судорожно собирала по Москве и Ленинграду, чиновники, конечно, с квартирой прокатились.

А Юрий вскоре умер.

Другой бывший поклонник встретился ей недавно на бывшей Горького. Спросил небрежно: как дела, старуха? А в глазах: можешь не отвечать, вижу, что сошла с дистанции.

«О себе скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поззии, хотя неоднократно сильными ударами велел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознание, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодезь, рождало вместо отрядного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удущье, которое длилось годами».

В пятьдесят девятом году написала эти строки Анна Ах-

матова. Когда нет условий, они погибают, как цветы». Сказала и ушла. Зал притих. Потом из того зала один старый шахтер, протрезвев, покаянное письмо прислал. А администратор той же филармонии организовала в Москонцерте донос: Камбуrowa оскорбляла рабочий класс, ненавидит простых людей.

С администраторами вообще везло. Трижды в разных городах в разные годы администраторы на полном серьезе спрашивали ее: стало быть, у вас концертная бригада в тринадцать человек? Почему тринадцать? Ну вот в афише написано: Блок, Цветаева, Мандельштам и т. д.

А друзьям начнет жаловаться, те успокаивают: скажи спасибо, что на сцену выходишь. И то правда. Всю жизнь очень боялась, что на совсем сцены лишат.

И сегодня единственное, что у нее есть, — это сцена. Иногда. Редко. Но есть. (По телевидению она уже давно не выступает. И по радио не звучит).

Есть театр Елены Камбуrowой. Но у театра нет своего помещения. И театр этот как бы условен, он существует только в пространстве концерта. До недавнего времени где было репетировать, аппаратуру тайно от администрации прятали по гримерным знакомые актеры. Аппаратуру разворовывали. За час репетиции в каком-нибудь ДК драли сумасшедшие деньги. Совсем недавно приютил ДК МВД. Репетировать теперь есть где. Но помещения для театра как не было — так и нет.

...У нее — тихое имя.

«Себе самой я с самого начала то чьим-то сном казалась или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины».

Зрители ей пишут: «Вы спели за многих. Вы сказали за многих. Вы даете возможность петь непоющим, говорить — неговорящим, дышать — задыхающимся. Вы — путь освобождения и подъема». «Спасибо, что спасаете нас от эмиграции».

...Фаина Георгиевна Раневская говорила ей: «Дэточка, я всю жизнь проплакала в унитазе».

Они дружили десять лет. Лена приходила к Фаине Георгиевне вечерами, приносила пластинки из своей фототеки. Они слушали Рахманинова, Чайковского, Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Жака Бреля, читали, говорили.

Добра Фаина Георгиевна была необыкновенно. Все время спрашивала: «Дэточка, чем могу помочь?», «А деньги не нужны?». Утешать могла, как никто. Однажды Лена жалуется на свои дела, а Фаина Георгиевна слушает

умела Фаина Георгиевна без всяких дипломатий обращаться с бесцеремонными людьми. «Я вас не приглашала», — сказала она нагледу и была при этом по-королевски страшна во гневе. Уже почти захлопнув дверь, вдруг почему-то спросила (может, испуганный вид поразил?) Камбуrowу: «А вы, простите, кто?» «Я... та самая... Камбуrowa... которой вы писали... впрочем, вы, наверное, не писали...» — «Дэточка, — распылилась в улыбку Раневская. — Какое счастье! Да, это я писала. Какое счастье, что вы — не фифа».

...Вообще, это тоже родом из шестидесятых: поверж всех барьеров — люди, люди, люди...

С Леонидом Енгитбаровым Камбуrowa познакомилась в цирковом училище, а подружилась в последний год его жизни.

Человек невероятно одаренный с рождения, он сразу поразил ее тем, как дьявольски много работал.

Его нещадно эксплуатировали. В день заставляли давать по два, три концерта. На нем зарабатывали деньги. А он совсем не умел халтурить. На любом концерте выкладывался.

Вернулся измученный с гастролей, лето стояло сумасшедшее, горели леса под Москвой, почти невозможно было дышать, все ходили подавленные и злые, и только, кажется, один человек, Енгитбаров, был в прекрасном настроении, он придумал новый номер, неистово репетировал и повторял, как заклинание: «Я себя прекрасно чувствую. Меня звали к морю. Но я не поехал. Я никуда не хочу ехать. В отпуске человек должен заниматься тем, что он больше всего любит. Я — работать».

Тромб оборвал его жизнь.

За месяц до смерти у Енгитбарова родилась идея: сделать спектакль на двоих: для себя и Камбуrowой. Не успел.

...В Саратове тоже беседовали с ней в обкоме партии, и в Красноярске, и в Калуге. Так тихо, мягко.

Лена терялась, забивалась в угол. Она «их» птичий язык не понимала. Похоже все было на моральные душевные избиения.

Она начинала свои концерты в ту пору с «Белеет парус одинокий» Лермонтова. Нет, по линии идеологии тут никаких претензий не было. Но! Белеет и белеет, ну, одинокий. Однако можно же все это петь в мажорном, так сказать, ключе?

Она пыталась защищаться тем, что у нее отношения с песнями, как с людьми. И, как с людьми, ей расставаться с ними грустно. Помилуй-